

[1920]

И вот, *20 января 1920 года*, мы покинули Иркутск.

Последние дни в родном городе прошли для меня, как в тумане. Нужно было складываться, устраивать мебель и лишние вещи по знакомым, отбирать все необходимое в дорогу; нужно было хорошо распределить все это, что-то обдумать, сообразить... А у меня опускались руки, я не могла собрать мыслей и была совершенно растеряна. Заходила к знакомым, прощалась с друзьями, насматривалась на дома и улицы города, среди которых прошла почти вся моя жизнь, ее лучшие дни... Была у меня, конечно, надежда на скорое возвращение: авось, опять армия соберется с силами, прогонит красных, и мы сейчас же вернемся домой; но глубоко в душе, как глухое предчувствие, ныло и болело что-то, и покидать родной город и всех близких людей было мне нестерпимо тяжело.

Иркутск в эти дни совершенно преобразился. С самого начала захвата власти Политическим центром¹, как по волшебству, исчезли с улиц города хорошо одетые люди; появились платки и шали на головах женщин, старенькие пальто и шапки на мужчинах. Все стало серо и печально. Какие-то подозрительные фигуры начали шнырять там и сям; пошли слухи о самочинных обысках по квартирам, производимых людьми в солдатских шинелях. К С.Г.П-ву, служившему при Колчаке в антибольшевистской разведке, несколько раз врывались с обысками, совершенно измучив его жену; сам он заблаговременно скрылся куда-то. Забегали по улицам мальчишки, продававшие газеты с большевистскими призывами и лозунгами.

Один такой мальчишка с наглой рожей наскочил на меня, когда я шла по улице: «Купите газетку!» Мгновенный прилив ярости овладел мною: «Ты что это продаешь, мерзавец?» Отбежав от меня на несколько шагов, он с непередаваемой интонацией трусости и ненависти в голосе крикнул мне: «А вы кто? Из белых?» Я потеряла самообладание: рванулась к нему и, бешено тряся его за воротник, кричала какие-то бессвязные слова к видимому удивлению редких прохожих. Мальчишка вырвался и убежал, а я, придя домой, расплакалась от сознания полного своего бессилия и отчаяния перед надвигающимися событиями и от страстной ненависти к тем, в чьих руках находились теперь наши судьбы...

19 января полковник П. прислал извещение, что завтра приедут за нами — эшелон скоро отправится; точного часа не было указано. Вот

¹ Политический центр (Политцентр) образован осенью 1919 г. в Иркутске Всесибирским краевым комитетом социалистов-революционеров, Центральным комитетом объединений трудового крестьянства Сибири и Земским политическим бюро. В конце декабря 1919 г. деятели Политцентра организовали восстания в Иркутске, Красноярске и др. городах Сибири, произвели аресты А.В.Колчака, В.Н.Пепеляева и др.

тогда-то я заторопилась и заметалась, но уже не было времени устроить все, как следует. Кое-как уложились, свезла вещи на хранение к А.Г.М-ной, к сестре, к К.Н.Г[лото]ву*¹ в его кладовые; у него еще ранее было оставлено несколько ящиков моих личных книг и другого имущества². Накануне этого дня муж мой уже перебрался из своего убежища к Зине*³, у которой и я прожила все последнее время.

20-го утром я пошла купить что-то в дорогу и еще кое с кем проститься. Вернулась — встретила меня заплаканная Аг.Захаровна⁴ и сообщила, что сейчас чехи уже увезли в своем автомобиле моего мужа; за вещами они пришлют к вечеру грузовик, с которым уеду и я. Сердце мое дрогнуло... Я дала знать сестре о моем близком отъезде; К.Н.Г[лото]в обещал увезти меня к месту стоянки поезда на своих лошадях. Зины не было, она не вернулась еще со службы. Пришла сестра Валя; мы обе горько разрыдались при прощании, и сейчас я все вижу ее понурюю фигуру, одиноко шедшую впереди меня по улице, когда я уже ехала на поезд... Сердечно простилась я с Аг.Захаровной, благодаря ее за все, что ее семья сделала для меня с мужем в это тяжелое для нас время; по дороге встретила Зину, которая подошла к моим саням, — и так мы с ней простились — можно сказать, на ходу. Сквозь слезы я проговорила: «Не горюй, Зина, скоро увидимся», на это она только безнадежно покачала головой.

Потом еще кто-то окликнул меня — Саша Б. подошел и спросил: «Уже едете? А где же Ваня?» И, узнав, что он уже уехал, печально сказал: «Жаль; хотел с ним увидеться на прощенье». И передал мне для него подарок — коробку папирос. До глубины души тронуло меня его дружеское внимание, и так мучительно жаль стало его: затаенная тоска и тревога глядели из его глаз, и весь он был как в воду опущенный. Я тепло распрощалась с ним.

И вот мы уже за пределами города, едем снежной дорогой, параллельно железнодорожному полотну; перед нами, указывая путь, движется чешский грузовик с моими вещами. Темнеет — январские дни коротки. Мелькают впереди огни станции Иннокентьевской; мы переезжаем через рельсы, лошадь наша останавливается, и чешский солдат, соскочив с грузовика, ведет нас к чернеющему вдаль длинному поезднему составу. На площадке вагона 4-го класса стоит закутанная до самых глаз женская фигура и машет мне рукой: сюда, сюда! Я прощаюсь с Конст[антином] Ник[олаевичем], несколько секунд провожаю глазами его удаляющуюся высокую фигуру, затем вхожу в душный, нагретый вагон, где встречает меня муж.

¹ Под * выделены фамилии людей, полные имена и краткие биографии которых включены в аннотированный биографический указатель.

² Оставлено: библиотека, насчитывающая около 2000 названий, в том числе около 1000 книг и брошюр по сибиреведению и краеведению; книги и брошюры с дарственными автографами, альбом с газетными вырезками и библиографическими статьями о Серебренниковых (1906—1918), альбом вырезок статей А.Н.Серебренниковой, опубликованных в серии «Журнальное обозрение», фотоальбомы, дневники (1912—1918), рукописи и т.д. (НИЛА. Serebrennikov I.I. (Дневник, запись от 13 окт. 1946).

³ Маевская Зинаида Николаевна — подруга А.Н.Серебренниковой.

⁴ Хозяйка дома.

С этого момента начинается наша вагонная жизнь¹. Иркутск, все прошедшие дни, родные и близкие, милые сердцу люди — все осталось за гранью, отошло вглубь. Бог весть, увидимся ли мы еще когда-нибудь, вернемся ли назад... И первое, что я делаю при входе в вагон, — бросаюсь вниз лицом на приготовленную для меня скамью и горько плачу...

Поздно вечером в этот же день мы узнали от зашедшего в наш вагон чешского офицера, что власть в Иркутске уже перешла в руки большевиков. «Политический центр», состоявший из социалистов разного толка, как всегда, сыграл лишь передаточную роль и услужливо уступил большевикам свое кратковременное господство. Вот почему чехи так поторопились вывезти нас с мужем из города.

Стало совсем скверно на душе: теперь уже Иркутск окончательно отрезан от нас. Что-то будет там, какая участь постигнет многих и многих, какис еще тяжелые испытания ждут их — страшно было подумать... В эту первую ночь ни я, ни муж мой не сомкнули глаз. В вагоне было неудобно: жесткие деревянные койки, холод, тускло горящие лампочки; наши соседи, которых я еще не успела разглядеть, переговаривались между собой сдержанными голосами... Грустно, грустно...

На другой день утром зашел к нам полковник П. Он говорил на очень ломанном русском языке, но все же понимать его можно. Сказал, между прочим, что собирается на автомобиле — под чешским флагом, конечно — поехать в город по каким-то делам. У меня мгновенно вспыхнуло страстное желание еще раз взглянуть на родные лица, перекинуться с ними еще несколькими прощальными словами. «Возьмите меня с собой», — сказала я полк[овнику] П-у. Он согласился: но муж стал отговаривать: «Мало ли что может случиться, вдруг тебя арестуют, застрянешь там, и мне придется ехать одному». Я осталась, сознавая, что он был отчасти прав в своих опасениях: но, Бог знает, как я стремилась хоть минуту вздохнуть еще воздухом родного Иркутска, покидаемого мной, быть может, навеки — как будто после этого мне легче было бы уехать...

Познакомились с соседями. Женщина, встретившая меня на площадке вагона вчера вечером, оказалась русской, женой капитана Когута, молодого очень милого и приятного чеха; она была также молода и симпатична. Начальник нашего эшелона, поручик М[аршале]к, произвел на нас прекрасное впечатление; зато его жена, тоже русская, сразу оттолкнула нас своей надменностью и пренебрежительным, свысока, отношением к нам. Ее недолюбливали и чехи, населявшие наш вагон. Что было хорошо в ней, это ее тяжелые, длинные косы, падавшие ниже колен, и живые, блестящие глаза. Был

¹ И.И.Серебрянников дал такое описание: «Эшелон наш состоял из товарных вагонов-теплушек и одного пассажирского вагона 4-го класса. В этом вагоне помещался офицерский состав эшелона; в нем же дали места и мне с женою. Двое из офицеров ехали с женами-русскими. Чехи приняли нас на полное довольствие, и нам ежедневно выдавалось все, что полагалось получать чешскому солдату: кипяток, обед и ужин, а, кроме того, раз в неделю — несколько банок консервов, чай, сахар, кофе, мыло и папиросы» (Серебрянников И.И. Мои воспоминания. Т. 2: В эмиграции (1920—1924). С. 2).

тут один инженер¹, затем молодой и очень красивый капитан с золотым браслетом на руке; семейство К[аутски]х: отец, мать и рослый румяный сын, которого они, видимо, боготворили; пожилой пивовар из Омска, Г[ампло]в, с женой, суетливой и болтливой особой... Офицерам прислуживали денщики-солдаты, которые все отличались опрятностью и большой всежливостью.

Мы еще не едем: быть может, эшелон отправится только через несколько дней. Сидеть на месте, так близко от Иркутска, и не иметь возможности туда попасть — эта мысль точит и точит меня непрерывно. Сюда же примешивается и страх перед возможностью вторжения большевиков в наш эшелон. Поручик М[аршале]к уверяет нас, что он ни в каком случае не допустит этого, но мы с мужем очень беспокойны и боимся даже выйти из вагона на воздух.

Проходит день, другой. Все стоим на месте. Начинаем нервничать сильнее. Входит как-то в наш вагон человек, одетый в полувоенный костюм защитного цвета; садится, начинает разговор с поручиком М[аршале]ком. До нас долетает его фраза: «Я назначен комиссаром Воснного городка»... Конечно, мной овладевает смятение и ужас: сейчас будет спрашивать, нет ли здесь колчаковцев и белых вообще. Разговор длился всего минуты две—три, которые показались мне, однако, нескончаемо длинными. Потом комиссар встает и уходит. Жду еще несколько времени — не приведет ли он в вагон отряд красноармейцев. Нет, слава Богу, никого.

Пять томительных дней провели мы, не трогаясь с места, на станции Иннокентьевской. Наконец поздно вечером 25 января началось какое-то движение в нашем эшелоне, вагоны дрогнули, как бы отряхиваясь от нападавшего на них за эти дни снега; паровоз дернул раз, другой — и колеса, скрипя и визжа по рельсам, как будто с трудом отдираясь от них, отяжелев от долгой стоянки, пошли выстукивать одно и то же печальное слово: усхали, усхали, усхали... Но досхали мы лишь до станции Иркутск, где опять остановились на час или на два.

После глуши и тьмы Иннокентьевского тупика, где стоял ранее наш поезд, попасть на ярко освещенный Иркутской вокзал нам было неприятно и даже жутко. А вдруг, при полном-то свете, попадемся мы на глаза нашим врагам — и конец путешествию... И действительно, на площадку нашего вагона входит вооруженный красноармеец и хриплым голосом спрашивает начальника эшелона: «Можно посмотреть вагон — нет ли тут белогвардейцев».

Опять момент полной потерянности — я не дышу, не живу, все окружающее расплывается в одном чувстве ужаса: все кончено, сейчас найдут, уведут... Господи, помоги! Но поручик М[аршале]к уже загоразивает своей высокой, плечистой фигурой вход в вагон, и я с радостным облегчением слышу его спокойный и решительный ответ: «Нет, нельзя. Белогвардейцев здесь нет».

Скоро ли, скоро ли поедем?

¹ Инженер Ц. (Серебренникова А.Н. С чехами от Иркутска до Харбина: Дорожные записки // Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 2: В эмиграции (1920—1924). С. 233).

Но мы стоим еще и еще. Так странно: вот тут, напротив нашего поезда, совсем близко, за рекой спит в морозной ночной тьме родной город. Встать бы, выйти из вагона — и опять дома, опять жить, как жили раньше... Что такое случилось, какие злые чары опутали нашу родину, которых она не может стряхнуть с себя? Почему мы сидим здесь, в этом холодном, черном вагоне, среди чужих людей, — вместо того, чтобы спать спокойно в теплой комнате своей уютной квартиры? Почему бежим от своего народа, из своей земли куда-то в неизвестное будущее?.. Мысли путались, толпились в голове, отдаваясь тупой болью в сердце...

Миновали и эти долгие, томительные минуты ожидания: Мы, наконец, едем — на этот раз окончательно и без остановок.

26-го января утром мы были уже на Байкале, а после обеда — в Слюдянке. Проезжали бесконечные тоннели, в могильной тьме которых мне и раньше всегда было не по себе, а теперь даже совсем страшно. С тоской вглядывалась в знакомые места. Когда-то, в счастливые и мирные дни, летом, я проезжала этими же берегами нашего «славного моря, священного Байкала» и любовалась синевой его глубоких вод и высокими вершинами чудесных живописных Байкальских гор. Незадолго до революции жили на Байкале, на дачном отдыхе, молодые тетушки моего мужа, петербургские барышни, присхавшие служить в Иркутск. Они в восторге были от красот Байкала и находили, что даже на Черном море (где у их отца было собственное имение) нет таких прекрасных закатов, такого чистого, ясного неба и такой прозрачной синей воды. Я вспомнила об этом сейчас, смотря в окошко вагона на замерзший Байкал, и с горечью подумала: кто теперь будет восторгаться его красотами и любоваться пламенем закатов над ними? Все это ушло, на земле нашей остались теперь лишь слезы, тоска и ужас...

27-го утром мы приехали на станцию Утулик. Приближаясь к станции, едва не столкнулись с другим эшелоном, который слепо летел на нас, невзирая на тревожные гудки и свистки нашего паровоза. В 50-ти шагах от нас его все уже удалось остановить.

Так как стало известно, что мы простои́м в Утулике некоторое время, все обитатели нашего поезда высыпали погулять на свежем воздухе. День был ясный и тихий, под лучами яркого солнца ослепительно сверкали чистые, белые снега, лежащие кругом девственными сугробами. После духоты и копоти нашего вагона так легко дышалось этим вкусным морозным воздухом. Мы с мужем и кап[итан] К[огут] с женой пошли погулять по Байкалу. Чехи рассыпались по озеру и забавлялись, стреляя в стоящие торчком прозрачно-зеленоватые ледяные глыбы; эхо выстрелов красиво отражалось горами, прилетая назад громкими и звучными залпами.

Один чех рассказал нам, что здешние горы населены изюбрами и козами, и что в них много соболей и горностаев. Он уже приценивался к ним и узнал, что невыделанная шкурка соболя стоит 30 000 сибирскими деньгами, а горностаев — 600 руб. А я продала в Иркутске свою чудную соболью пелерину за 900 сиб[ирских] рублей! Тяжело болела тогда, не хватало денег, чтобы расплатиться в лечебнице, а заниматься не желала, хотя мои друзья и предлагали мне какую угодно

сумму. Теперь мне стало очень досадно на себя за этот необдуманый поступок.

Будем стоять в Утулике дня два. Узнали, что тут есть хорошая железнодорожная баня. Я и m[ada]me Когут пошли и вымылись с большим удовольствием. Потом ходили мыться наши мужья.

На станции продавалось много молока; в наш вагон купили несколько четвертей¹ его. Хотела я купить хлеба, но его нигде не оказалось. В эшелоне мы с мужем получали от чехов полное офицерское довольствие: обед и ужин, чай, сахар, кофе, консервы, папиросы, спички и мыло. Но хлеба давалось немного, его заменяли знаменитые чешские «кнедлики». Еще на ст[анции] Иннокентьевской начальник нашего эшелона распорядился выдать моему мужу чешское военное обмундирование, чтобы обеспечить ему большую безопасность при проезде. Был дан ему и документ, удостоверяющий, что предьявитель сего, доброволец чешской армии Ян Пенкава, едет в службную командировку во Владивосток. Таким образом, бывший министр снабжения Сибирского правительства И.И. Серебренников временно перестал существовать, перевоплотившись в рядовое лицо...

Для услуг нам был назначен, в наше полное распоряжение, денщик — чешский солдат по имени Франц Поспехал. Он приносил нам кипяток, воду для умывания, обед и исполнял все наши мелкие поручения: был очень вежлив и чистоплотен.

28-е и 29-е провели на месте. В нашем подневольном путешествии у нас с мужем было много дел: мы начали изучать английский язык по учебнику Нурока², купленному еще в Иркутске, и с большим интересом и усердием заучивали слова и делали переводы. Прислушивались также и к чешскому языку и уже научились понимать отдельные слова и фразы. В нем много общего с языком польским, которым я раньше хорошо владела.

В ночь с 29-го на 30-е ударил жестокий мороз. Мы порядочно замерзли на своих койках, спали одетыми в шубы, укрываясь одеялами и пледами. Глубокой ночью сонная тишина нашего вагона была вдруг нарушена сильнейшим взрывом. Все вскочили: что случилось? Где стреляют? Оказалось, под моей скамейкой лопнула от холода бутылка с молоком.

Выехали из Утулика вечером 1 февраля; 2-го были в Танхое, где простояли немного более суток. Чехи в пути издавали газету «Дневник», получая для нее на станциях телеграммы, и каждый день сообщали нам последние новости. В Танхое мы узнали, что японцы вместе с Семеновым собираются перейти Байкал и ударить по красным, и что каппелевцы уже приближаются к Иркутску. Слава Богу, подумалось мне невольно, теперь адмирал Колчак будет спасен.

Ночью 3 февраля наш эшелон двинулся дальше и утром остановился в Переемной. Масса снега кругом — чистого, белого, сверкаю-

¹ Русская мера объема жидкостей. Четверть = 1/4 ведра = 3,08 литра.

² Популярный учебник: Нурок П.М. Практическая грамматика английского языка. Выдержал несколько переизданий в России и эмиграции.

щего всеми цветами радуги. Я люблюсь на него так, как будто больше никогда в жизни не придется мне увидеть его.

Чехи принимают меры предосторожности против заноса «нежелательных элементов» в наш эшелон: все вагоны политы и опрысканы крепко пахнущей дезинфицирующей жидкостью.

В Пересмной был получен нами очередной номер «Дневника» с сообщением, что красные бегут из Иркутска под натиском каппелевцев¹. Господи, наконец-то! С жадным нетерпением ждем дальнейших известий.

Узнали, что будем стоять на мосте еще порядочно времени. Нет паровозов. Наш состав стоит в тупике. Мимо проходят поезда с чешскими босвыми частями, стремящимися пробиться скорее на восток.

Я много гуляю с А.М.Когут и ее мужем; погода приятная — тихий мороз, без ветра. Мой «Ян Пенкава» предпочитает отсиживаться в вагоне, боясь каких-нибудь нежелательных встреч на станции.

Лишь 7-го вечером пришли два паровоза, которые должны были довести нас до Мысовой. Слышала, как начальник эшелона употребил в разговоре слово «саботаж», он, видимо, был очень рассержен. Конечно, все железнодорожники настроены большевистски и, обязанные договором Советской власти с чехами пропускать их беспрепятственно, все же стараются пакостить им, где только могут.

Двинулись в путь. В самом начале подъема эшелон наш перервался, и несколько вагонов укатились назад. Опять остановка, все немного нервничают. Один паровоз ушел за беглецами и привел их обратно. Снова едем, на этот раз благополучно. Однако нас довозят только до Мишихи, а не до Мысовой, как полагалось. Опять слышу слово «саботаж».

В Мишихе мы простояли до вечера 8-го февраля. В ночь с 7-го на 8-е я увидела странный сон. Снилось мне, что я брожу по незнакомому большому кладбищу, ярко освещенному луной; блестят белые кресты, белые памятники — все залито этим неживым, холодным светом. Между могилами качаются на высоких, тонких стеблях необычайно крупные, желтые, призрачные цветы. Мне жутко, и страшная тоска давит мое сердце, мучит сознание, что я одна, затеряна на этом кладбище, где все так недвижимо и тихо, только странные цветы медленно кивают мне своими головками...

С этим чувством давящей тоски проснулась я утром 8-го февраля, и она, подобно глухому предчувствию, не покидала меня весь день.

Поздно вечером мы узнали от чехов, что в Иркутске расстрелян большевиками адмирал Колчак*. Итак, он все-таки погиб. Погиб в оказавшейся неравной борьбе за свободу и счастье русского народа — того народа, именем которого его убили. Честный патриот, мужественный сын своей Родины, на посту Верховного правителя призывавший все время к исполнению долга, к жертвам во имя родины, к дружной работе — все для Родины, ничего для себя! — он, в результате какого-то постыдного торга, предан «союзниками» в руки палачей...

¹ Остатки бывшей армии генерала В.О.Каппеля.

Трудно передать чувства возмущения, ужаса, скорби, бушующие в моей душе — больше всего скорби и беспросветной тоски. Муж мой также потрясен и сидит в глубоком молчании, с выраженным страданием на лице. Смотрю на чехов, наших соседей по вагону, и у меня закипает раздражение и злоба на всех них, за их преступное попустительство этому вопиющему делу. Но сейчас они наши хозяева, любезно предоставившие нам приют и убежище, спасающие нас от беды, быть может, от гибели... Мы должны быть благодарны им за это. Ну, что ж, история когда-нибудь рассудит всех и найдет виноватых...

Настала ночь, наш поезд уже прибыл в Мысовую и остановился там. Мы с мужем не могли уснуть, изредка перекидывались короткими фразами. На рассвете, часов в пять, я глядела в окно вагона: чуть брезжил тусклый свет зачинающегося дня; ущербленный месяц печальным серпом качался в свинцовом небе; где-то далеко глухо выли собаки. Боже мой, какая щемящая боль и тревога в душе! Что-то будет дальше с нами? Что ждет Россию? Какой ужасный, какой тяжкий путь стелется перед нашей родиной — путь крови, мрака и жертв без конца...

9-е и 10-е февраля провели в Мысовой, был произведен ремонт всего эшелона. Я выходила гулять на станцию, где увидела, в первый раз в жизни, броневик — как оказалось потом, «Орлик». Мне сказали, что он принадлежал раньше семеновцам, но был в одной из стычек захвачен у них чехами и сейчас стоит под чешским флагом.

На станции много продуктов¹. Около них стоят и бродят кучками неизвестно откуда взявшиеся цыгане — неужели тоже бегут от грядущих прелестей большевистского рая? Женщины, с пестрыми шальями и платками на головах, зябко кутающиеся в какое-то подобие зимней одежды, мужчины в рваных полушубках — все черномазые, белозубые, говорливые, несколько «театрального» вида — в этой обстановке бегства, на станции, с грозно чернеющим броневиком, напоминающим о войне и гибели, — производят какое-то странное, неестественное впечатление, точно им тут не место, совсем не должно им быть здесь...

Чешский «Дневник» сообщает, что каппелевцы, увеличившись до 20 000, заняли Иркутск. Но я уже не верю больше ничему. Если даже и заняли, то все равно, Колчака это не вернет — его уже нет в живых.

Погуляли мы с Алекс[андрой] Мих[айлов]ной и по Байкалу. Чехи пробовали свою батарею, сделали несколько выстрелов, на которые горное эхо ответило громовыми раскатами.

10 февраля, в 12 часов ночи, мы получили паровоз и двинулись дальше к Татауровой, куда прибыли *11-го* утром. Не задерживаясь здесь долго, поехали в Дивизионную, простояли там два часа. Вот и Верхнеудинск, где я провела когда-то хорошее лето у сестры моего мужа, жены лесного ревизора С.П. Бонишко; они жили тогда в прелестном дачном местечке вблизи Березовки.

Узнав, что в Верхнеудинске будет остановка на несколько часов, я хотела пойти в город, чтобы повидаться и проститься с семьей Бонишко. Но мне сказали чехи, разузнавшие об этом на станции, что в городе военное положение, и после шести часов вечера там никому

¹ Так у автора.

не позволяется ходить. С большим сожалением я должна была отказаться от своего намерения.

На вокзале заметила много японцев. Начинает чувствоваться близость Семеновского царства.

Уехали мы из Верхнеудинска в ночь на *12-е февраля*. Узнали, что красные партизаны сделали налет на станцию Заиграево и временно захватили ее; японцы выслали туда броневик, но он почему-то вернулся обратно. Было беспокойно стоять на этой станции; мы с мужем боялись даже подходить к окошкам нашего вагона, особенно после того, как стало известно, что на вокзале красные чуть не арестовали двух наших «обчанов» (штатские чехи). Понадобилось вмешательство начальника эшелона, удостоверившего их личность; тогда их освободили.

12-го февраля к вечеру приехали в Петровский Завод¹. Очень красивое место: кругом горы, покрытые сосновым лесом, который на фоне ослепительно белого снега кажется почти черным. В центре поселка — круглое озеро, над которым местами низко свешиваются ветки дерсьвьсв. Как хорошо тут, должно быть, летом.

Чехи говорят, что мы долго будем стоять здесь. Ну, что ж, — мы уже привыкли к таким остановкам: *festina lente*². Дел у меня накопилось достаточно: нужно отдать в стирку белье, потом выгладить его, побывать в бане, если таковая имеется, пройти еще несколько уроков английского языка по Нуруку и заняться чешской поэмой, которую я перевожу на русский язык. Это — сатирическая поэма К. Гавличка* «Крещение Св. Владимира», очень остроумная и оригинальная³. Чешским языком я уже достаточно овладела.

Запишу здесь первую главу этой поэмы, «Перун и Владимир», уже мной законченную.

Царь Владимир в именины
Пир веселый правил,
И к Перуну с приказаньем
Он посла отправил:
«Погреми, Перун, мне громом
Вместо пушек залпов.
Порох нам годится в битвах,
Тратить его жалко.
Погреми, Перун, мне громом
Вместо канонады
И приди со мною выпить
«Чашку шоколада».
Вот пришел посол к воротам
Перуновой хатки;
Постучав, прислуге молвил:

«Дома ли бог-батка?»
«Дома, дома, ваша милость!
Заходите в хату!
Он на печке нашивает
На штаны зарплату».
«Шлет поклон всем царь Владимир
И велит вам строго
В именинный праздник царский
Погреметь немного».
Бог Перун услышав это,
Брови грозно сдвинул,
Спрыгнул с печи на скамейку,
Брюки на пол кинул:
«Лучше быть мне свинопасом,
По болотам шляться,

¹ Петровский Завод, ныне Петровск-Забайкальский Читинской области. См. также: Серебренников И.И. В Петровском заводе // Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 2: В эмиграции (1920—1924). С. 7—10.

² Спешу медленно (*лат.*).

³ Поэма «Krest sv. Vladimira» («Крещение св. Владимира») является политической пародией, направленной против светского и церковного деспотизма (1848—1954). Частично впервые переведена в 1907. Перевод сделан А.Н.Серебренниковой по кн.: Гавличка К. Собр. соч. / Под ред. Ф.Крейчаго. Т. 3. Прага: Б-ка чешских классиков, 1906. Полный текст перевода см.: NILA. Serebrennikov I.I., box 17, folder 6. 28 л.

Чем у киевского князя
Мне в богах мотаться!
Служба тяжка; платят мало,
Нет конца мученью!
Должен я царю и в праздник
Делать развлеченье!
От моих громов и молний
Прибыли мне мало:
Нынче целая штанина
От огня пропала.
Редко вижу я подарки,
Незавидна плата:
Не могу купить я даже
Масла для салата.
Ем жаркое только в праздник,
Пить могу лишь воду.
Еле-еле смог жениться
От того дохода!
Чтобы с голоду не сдохнуть,
Я себя питаю
Тем, что физике студентов
Платно обучаю.
Если б мне не доставались
Бабьи приношенья,
Я не мог бы выпить водки
Даже в воскресенье.
Даром на царя работать
Больше не желаю!
А на шоколад на царский
Просто начихаю!
Нет и нет! Греть не буду:
Отдыха нет, сроку...
Царь ли, праздник — все равно мне:
Что мне в этом проку?»
Тут посол, остолбеневши,
Молвил еле-еле:
«Эй, опомнитесь, хозяин!
Что вы, одурели?
Нужно знать свои границы.
Если я с ответом
Вашим дерзким возвращуся —
Что вас ждет за это?»
Но Перун, разгорячившись,
С миной злой-презлой,
На посланца замахнулся
Громкою стрелою.
Тут посол уж спорить с богом
Дальше не решился
И к Владимиру с докладом
Спешно устремился:
«К вашему величеству я
С рапортом являюсь,
Но слова Перуна-бога

Повторить стесняюсь.
Он греть не хочет больше —
Это же обидно.
Ваше же величество он
Поносил бесстыдно.
Пусть-де царь сам обожрется
Своим угощеньем!
Не желает больше быть он
Царским развлечением.
Именинный праздник царский
Знать он не желает.
С позволенья сказать вам,
Он на вас чихает».
Царь Владимир, услышавши
Это грубиянство,
Плюнул на пол, заругался,
С ним и все дворянство.
Царь велит, чтоб три жандарма
К богу поспешили
И немедля грубияна
К трону притащили.
Но, когда пошли жандармы,
Закричал в окно им:
«Эй, вернитесь-ка обратно!
Завтра все устроим.
Мы сегодня портить праздник
Лучше уж не будем,
А надрать Перуну уши
Завтра не забудем.
Не нуждаемся мы в громах,
Коль имеем пушки:
Сами можем гром устроить
Для своей пирушки!»...
Взять две батареи флигель-
Адъютант был послан,
Чтоб гремели за обедом
И во время тостов.
Ели, пили до отвала,
В славу пировали!
У министров все застежки
С брюк поотлетали.
Пили все вино и пиво,
Кушали котлеты —
И у многих офицеров
Лопнули жилеты.
Пировали, веселились,
Пели, танцевали...
Из бутылок и из пушек
Пробки вверх взлетели.
Кто там был, тот пьян напился.
Все довольны были.
Всех гостей потом с дарами
По домам свозили.

Из второй главы — «Хозяйство Перуна», я успела пока перевести лишь несколько строк. В переводе я стараюсь сохранить близость к подлиннику; размер стиха — тот же, что в оригинале.

Чехи — спутники по вагону — очень заинтересованы моей работой. Когут и Бенеш прочли первую главу и одобрили ее, а Когут взялся даже иллюстрировать поэму и тотчас же набросал рисунок к первой главе: городской приходит звать Перуна на именины к князю Владимиру. Когут — отличный художник; на клочках бумаги он

сделал для меня очень тонкие, иногда остроумные зарисовки. Я предлагаю некоторые из них к моему дневнику.

Первые два дня гуляли по поселку; осматривали железодельный завод. Там работает громадная паровая машина Уатта, поставленная чуть ли еще не при Петре Великом. Рабочих на заводе 500 человек. Мы расспрашиваем их, узнаем, что получают они от 50 до 120 рублей в день, но вот уже два месяца денег нет, и им выдают плату продуктами. Рабочие — все местные жители, имеют свои хозяйства и пока не жалуются.

15-го февраля, в прекрасный солнечный день, мы с мужем пошли разыскивать могилы декабристов: несколько человек их сюда были сосланы и работали здесь, в заводских рудниках. Сначала разыскали часовню, где в склепе схоронены некоторые из них. На одной из плит, вделанных в стену часовни, — простая, краткая надпись: «Младенец фон Визин, родился и умер тогда-то». В этой же часовне находятся четыре прекрасные иконы, написанные одним из декабристов; кем именно, нам не удалось узнать.

Затем мы отправились на кладбище и в самом дальнем углу его нашли могилу с надписью на высоком кресте: «Иван Иванович Горбачевский» — тоже декабрист*. Постояв у могилы, я оглянулась кругом — вид был бесподобный: кладбище расположено на пригорке, и во все стороны от него разбегались такие яркие снежные просторы, так сияло и даже чуть-чуть грело солнце, так высоко голубело чистое небо, и такая чудная тишина, мир и покой царили здесь, — что на миг забылись и отошли вдаль все пережитые испытания, и душа благодарно отдыхала среди этого торжественного спокойствия природы.

Но очень скоро опять напомнила о себе жуткая действительность. Гуляя как-то днем одна, я встретила дровни, накрытые рогожами — из-под них торчали окаменевшие ноги без сапог. Я разглядела наваленные друг на друга несколько тел. В ужасе я ускорила шаг. На дороге стояли три—четыре женщины, тихо разговаривая о чем-то. До меня долетели слова: «Пятерых убили, а троих спустили в прорубь». Я подошла к ним и спросила: «Кто кого убил?» Мгновенно лица их приняли непроницаемо-хитрое выражение, свойственное сибирским крестьянам; притворно-равнодушными голосами они ответили: «А кто их знает? Мы не знаем», — и, повернувшись, пошли от меня.

Еще утром этого дня я, гуляя по поселку, подошла к берегу озера и невольно залюбовалась им: раскинувшись глубокой, круглой чашей, лежало оно, покрытое тусклым, серовато-голубым льдом, слабо отблескивавшим под солнцем, и голые ветки нависших над ним деревьев тонко и четко рисовались на безоблачном синем небе. Вся эта акварельность, нежность тонов и необыкновенная красота ландшафта остро поразили мои глаза. Но теперь я с ужасом отвернулась от всей этой красоты, вспомнив о том, что совершилось совсем недавно под этим безмятежным синим сводом, быть может, вот здесь, у этого чудесного озера...

Жестока и страшна Гражданская война — наихудшая из всех войн по своей беспощадности...

На станции поселка помещается японский штаб, в одном из зданий, сплошь окутанном проволочными ограждениями; на крыше мешки с песком, и около них день и ночь торчит часовой-японец.

По-видимому, японцы плохо переносят суровую сибирскую стужу. Все они закутаны до самых глаз, носят меховые наушники, и на них иногда даже жалко смотреть.

Один из местных жителей рассказал нам, что при наличии в Петровском Заводе японцев и семеновцев на поселок сделал недавно набег отряд красных в 300 человек; убили одну женщину и, нагнав страшную панику, ушли.

На 2-й день нашей стоянки я и Алекс[андра] Мих[айлов]на [Когут] отдали в стирку местной прачке наше белье. Она так долго держала его у себя, что мы уже стали опасаться за его целость. Наконец, принесла — выстиранное, но не глаженное. «Нет утюгов, уж погладьте сами». Заплатила я ей за стирку 550 руб[лей] сибирскими деньгами. Сговорились с одним железнодорожником выгладить белье в его квартире — у него были утюги; гладили, и все время с боязнью поглядывали в окошко на стоявший вдали наш поезд: а вдруг он уйдет без нас дальше? Шел тогда уже 7-й день нашей стоянки в Петровском. Разговаривали с хозяином; он старательно ругал нам большевиков, но в его словах не было искренности, а глаза воровато бегали по сторонам. Заплатили ему за утюги нашими вагонными продуктами: чаем, сахаром, мылом и папиросами.

20 февраля все наши дамы в складчину пекли блины по случаю близкой масленицы. Пекли у себя, на вагонной печке; страшно наладили, но были довольны, что соблюли традицию — поели блинов.

На другой день была вторичная дезинфекция вагонов.

22-го и 23-го стоят сильные морозы, 35 градусов, с резким ветром. Сидим в вагоне, боимся высунуть нос на улицу.

Новости из чешского «Дневника»: «23-го семеновская часть выехала в Верхнеудинск, где, по слухам, красные подняли восстание. Генерал Розанов* уехал в Японию на двух пароходах, Калмыков* — в Китай, взяв с собой 32 пуда золота»...¹

¹ И.П.Калмыков 29 февраля 1920 г. со своим отрядом прибыл в г. Фугдик. Позже признался, что из Хабаровского банка взял 37 пудов золота, которые зарыл при переходе через границу. По другим сведениям, взято 65 пудов золота. Интернирован, арестован китайскими властями 16 апреля 1920 г. Убит 1 октября 1920 г. якобы при попытке к бегству. См. о нем: Собрание документов, относящихся к интернированию атамана Калмыкова в Гирине и его побега при посещении консульства, февраль—сентябрь 1920 г. Пекин: Изд. Рос. миссии в Пекине, 1920; Мальцев Г.А. Гибель первого выборного войскового атамана Уссурийского казачьего войска генерал-лейтенанта Ивана Павловича Калмыкова // Рус. жизнь. 1959. 19 марта; Библиотека Гавайского университета. Справка о личности атамана Уссурийского казачьего войска подьесаула Калмыкова и другие материалы помощника начальника железнодорожной милиции Уссурийской линии полковника Уссурийского казачьего войска Г.Ф.Февралева (убит калмыковцами во Владивостоке 19 сент. 1919). — Рукоп.; Савченко С.Н. Формирование Особого Уссурийского атамана Калмыкова отряда (март 1918 г. — март 1920 г.) // Материалы науч.-практ. ист.-краевед. конф., посвящ. 100-летию Хабар. краевед. музея, 17—18 мая 1994. Хабаровск, 1994. С. 204—206; НИЛА. Kolobov M., vol 1.

Семеновский броневик «Повелитель» вернулся обратно — видимо, экспедиция на красных прошла неудачно. В стычке с красными семеновцы потеряли одно орудие.

Простояли мы в Петровском 12 дней. 24 февраля вечером выехали и в 8 часов утра 25-го прибыли на станцию Хилок¹. Узнали, что ночью за нами красные взорвали два моста.

Хилок — неприглядное село, какое-то голое, пустынное. Нам сказали, что тут есть хорошая баня; решили воспользоваться ею. Пошел и муж мой — с большой неохотой; и я, признаться, хотя усиленно и посылала его вымыться, но с тайной тревогой ждала его возвращения. Он вернулся благополучно и остался очень доволен чистой баней, отличной, горячей водой. В тот же день вечером отправились мы дальше, приехали в 2 часа ночи в Могзон — и утром узнали там, что следом за нами в Хилок пришли красные и рыскали по деревне, высматривая кого-то. У меня захолонуло сердце: а вдруг они уже были там в то время, когда муж мылся в бане, и могли встретить его на улице. Так ясно ощутилось в этот момент, что красные гонятся за нами по пятам. Удастся ли нам благополучно уйти от их преследования?

В Могзоне служит лесником В.П.Бонишко, брат того Бонишко, к которому я собиралась зайти в Верхнесудинске. У него живет, в качестве его помощника, младший брат моего мужа, Николай. Так как выяснилось, что наш поезд простоит здесь дня три, — мы с мужем решили разыскать родственников и погостить немного у них. При первых же расспросах нам указали дом лесничего, и мы явились туда как снег на голову.

Приняли нас чрезвычайно радушно, захлопотали с угощением, засыпали вопросами. Дом у них прекрасный: большие светлые комнаты, приличная обстановка. Видно, живут, как помещики: всего — полная чаша. Странно было после вагонной копоти и тесноты сидеть на удобном стуле перед столом, накрытым чистой скатертью, и вместо приевшихся кнедников и консервного супу есть вкусные, горячие домашние блюда. Ночью же, лежа на прохладных простынях в удобной кровати, я долго не могла заснуть — и от необычности обстановки, и от тайной боязни, как бы нас тут не застигли красные, хотя хозяева и успокоили нас на этот счет.

Следующий день мы также провели у Бонишек и к вечеру отправились «домой» — на поезд. Они надавали нам с собой всякой всячины: бараний окорок, копченых языков, чаю, домашних булочек. Мы сердечно распрощались с милыми хозяевами.

Коля поехал с нами на станцию. Был он печален и все спрашивал мужа: уехать ли ему также или остаться в Могзоне? Что мы могли посоветовать? Сами мы ехали неизвестно куда, неизвестно на что. Коля не был замешан ни в каких действиях против большевиков, к «буржуям» тоже не мог быть сопричислен, занимая очень скромное служебное положение. «Лучше оставайся, — сказал муж, — думаю, что бояться тебе нечего».

¹ См. также: Серебренников И.И. На станции Хилок // Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 2: В эмиграции (1920—1924). С. 12.

Уже начинало слегка темнеть, когда мы выехали из гостеприимного дома Бонишко. Была маленькая оттепель, снег под нашими санями мягко поскрипывал; все казалось каким-то тусклым вокруг: серое небо, покрытое облаками, серый сумрак над землей, серая, унавоженная дорога... Могзон — неприглядная деревушка: разбросанные дома, мало леса; кругом одни буряты. Коля рассказывал, что зимой в деревню иногда заходят волки. От этих рассказов тоже серо и тоскливо сделалось в душе...

Вот и станция; на первом пути длинной черной лентой растянулся наш поезд. Коля внес в вагон корзинку с припасами, посидел немного с нами. Не понравилось ему наше черное, прокуренное жильё... «Ну, надо идти». «Может, скоро поедем обратно, — сказала я шутя, — непременно побываем опять у вас». Распростились. Коля чуть не заплакал, уходя, и мы с мужем проводили его с грустным чувством.

27-го, в 9 часов вечера мы уехали дальше. Был большой подъем до Яблоновой¹, потом поезд летел вниз, громыхая буферами, лязгая всей своей железной снастью, как будто одержимый какой-то злой силой. 28-го утром мы остановились на станции Чита I, на несколько часов. На вокзале я купила местную газету; читать было приятно и немного странно, что так открыто ругают большевиков: мы уже давно этого не видели. В 3 часа приехали в Читу.

На вокзале оживленно, людно; снуют взад и вперед японцы; семеновские офицеры — в погонах. Я никогда раньше не бывала в Чите и теперь с интересом смотрела из окна вагона на город, который виден, как на ладони — он расположен очень близко от вокзала: виднеются две большие церкви, двухэтажные каменные дома, деревянные скученные постройки. Я везла с собой из Иркутска 10 000 «сибирских» рублей, которые К.Н.Гловатов просил передать его жене, жившей в Чите; я хотела проехать в город, чтобы исполнить его поручение, но чехи никому не разрешили выйти из вагона, ибо не знали точно, когда поезд тронется дальше: «Может быть, через час, а может быть, и через десять минут». Видно было, что они несколько тревожно настроены: вероятно, опасались каких-либо недоразумений с семеновцами. Делать нечего, пришлось остаться.

Простояли мы, однако, под Читой больше часу. Погода скверная, ветер, снег. Грустно, что мы все дальше и дальше отодвигаемся от родного Иркутска.

Вечером мы уже гуляли по Туринскому разъезду, а 29 февраля приехали на станцию Карымскую.

Уже больше месяца находимся мы в пути. За это время я хорошо присмотрелась к нашим дорожным спутникам-чехам, и общее впечатление от них было весьма приятное. Офицеры — воспитанны, культурны, скромно держат себя; за все время нашего путешествия мы ни разу не видели пьяного среди них, хотя они и пили пиво почти каждый день. Солдаты — вежливы и чистоплотны. Наш «денщик», Франц Поспехал, очень нравился нам своим добродушным румяным

¹ Горный хребет в Забайкалье, главным образом в Читинской области. Вытянут на 650 км от Малханского хребта на запад до устья р. Нюкжи (приток р. Олёкмы) на восток. Высота до 1680 м.

лицом, с вечной приветливой улыбкой; каждое утро, являясь к нам с чайником кипятку, он вежливо произносил: «Добро утро!» и затем прибавлял, ставя чайник: «Вот, пошалоуста!» Денщик нашего милого художника, капитана Когута, по имени Коварж, был также славный малый, но был несколько угрюм и любил браниться: «Круцификс мизерний» и «Сакраментска» частенько слетали с его уст, когда он был чем-нибудь недоволен.

Не нравился нам только денщик капитана К., Фриц, державший себя несколько распушенно и дерзковато. В отсутствие своего барина он иногда забирался с ногами на его верхнюю койку и курил или закусывал там, нимало не заботясь о том, что крошки и пепел от папирос сыпались чуть ли не на головы обитателей нижних коек. Капитан К. его не останавливал: заметно было, что он его побаивался немного. В то время чешские солдаты уже становились немного распушенными, устав от долгой интервенции в чужой стране...

Как-то я, от нечего делать, написала шуточное стихотворение, пересыпанное чешскими словами, которых я знала уже достаточное количество. Показала его Когуту; ему понравилось, он перепечатал мне это стихотворение на машинке, и потом оно было помещено в номере рукописного журнала, который чехи выпускали еженедельно во все продолжение пути. В этом журнале мой муж также помещал небольшие статейки на сибирские темы. Вот это мое стихотворение:

Расскажу, друзья, вам повесть —
Посидите тихо, —
Как мы с чехами когда-то
Поехали на выход¹.

Рано утром все в вагоне
Ото сна восстанут.
«Вот, пошалоуста!» — Пospехал
Кипяток нам ставит.

Банеш, Каутские, Когут
Каву² попивают.
«Добро утро!» — все друг другу
Вежливо желают.

День хороший — всех на воздух
Манит солнца ласка.
Отправляемся попарно
Вскоре на прохаску³.

Смотрим мы, как влаки⁴ разны
Мимо пробегают:
Вшецки⁵ люди в них на выход
Скоро утикают⁶.

Лишь успеем прогуляться —
Уж посуду просят,
И к обеду, всем на радость,
Кнедлики⁷ приносят.

В одиночестве утеха,
В горе развлеченье —
С творогом пекут нам бухты⁸
Вшецко воскресенье.

День идет в занятиях разных,
Много всем работы:
Пан Пенкава по-английски
Учит анекдоты,

Пани Каутская каву
Иль какао варит,
Пани Гамплова лепешки
В сковородке жарит...

Подле влака бродят бабы,
Млека⁹ предлагают;
Все пенезами¹⁰ богаты,
Цены не пугают.

¹ Здесь и далее стихотворные примечания А.Н.Серебренниковой: Выход — восток.

² Кава — кофе.

³ Прохаска — прогулка.

⁴ Влак — поезд.

⁵ Вшецки — всякие, разные.

⁶ Утикают — убегают.

⁷ Кнедлики — национальное чешское блюдо, вроде больших клецок, с острым соусом.

⁸ Бухты — сдобные булочки.

⁹ Млеко — молоко.

¹⁰ Пенезы — деньги.

День кончается. Приходят
Гости дорогие.
Тут «Наздар!»¹ звучит повсюду,
«Иезус-Мария!»

Ночь настанет. Развлечений
И тогда немало:
Чья-то надоба² вдруг с гуры³
На скамью упала.

Фриц развесит сверху ноги,
Всем на загляденье,
Сыплет на головы крошки,
Пепел от курения...

Моя поэма «Крещение Св. Владимира» почти закончена. Остается только отделать и отшлифовать ее. Получилось неплохо. Чехи очень хвалят мой перевод и, видимо, довольны, что я заинтересовалась их поэтом. Английский язык у нас с мужем тоже подвигается успешно вперед. Мы уже прочли и перевели больше половины анекдотов, помещенных в конце самоучителя Нурика, знаем очень много слов, которые друг у друга спрашиваем для проверки, и, вообще, относимся к этому новому для нас занятию с большим увлечением. В этой разнообразной работе незаметно летят часы нашей дорожной жизни. Работа помогает нам забываться, поддерживает бодрое настроение, но вечерами, при тусклом вагонном освещении, когда нельзя ни читать, ни писать, опять подкрадывается и сосет сердце глухая тоска.

Иногда в сумерках чехи-офицеры начинали петь небольшим хором свои родные песни. Я любила их слушать: не было среди них отдельных хороших певцов, но слияние голосов было удивительно музыкально и гармонично и доставляло мне большое удовольствие. В эти минуты, лежа на своей вагонной койке, я уносилась мыслями далеко назад, в незабвенное прошлое: иное пение мерещилось мне, иная обстановка — большой концертный зал, эстрада, любимые артисты, нарядная публика, спокойное и беззаботное наслаждение красивой, обеспеченной, нормальной жизнью. Забудишься — и вдруг очнешься и смотришь растерянно: где же это я? Прислушиваюсь — согласно и мягко звучат в красивой мелодии мужские голоса в соседнем купе, стучат колеса вагонов по рельсам, равномерно встряхивая их на стыках; в вагонные окошки заглядывает мертвеющее вечернее небо... Не вернется прошлая жизнь, говорит безжалостный голос в душе: этот прекрасный сон отлетел от нас навсегда...

Записываю здесь еще вторую главу переведенной мною поэмы Гавличка — «Хозяйство Перуна». Она очень забавна и остроумна.

Хозяйство Перуна

Здесь гора стоит высоко,
Там стоит пониже;
Одному дастся густо,
А тому — пожиже.
В этот день, когда у князя
Шли увеселенья,

Бог Перун был в чрезвычайно
Скверном настроении.
«Кто, скажу я, не был богом —
Мало горя знает.
Божья жизнь не так приятна,
Как воображают.

¹ «Наздар» — приветствие, равное нашему «здравствуйте».

² Надоба — посуда.

³ С гуры — сверху.

Утром оросить я травы
Должен чрез оконце.
Запереть в светелку месяц,
Дров прибавить солнцу.

Всех чертей и духов ночи
По мешкам запрягать;
Звезды с неба поскорее
Все в курятник спрятать.

Каждой пташке и букашке,
Всем зверям и гадам
Выдает Перун припасы
Собственного склада.

А когда проснутся люди —
Что тогда творится!
Иногда от шума, гвалта
В голове мутится.

Будто тучей налетели
Мухи с комарами —
Тьма просителей пред богом
Так жужжит утрами.

Что хотят от бога люди,
Трудно разобраться!
Если это все запомнить,
Можно помешаться.

Тот здоровья просит; этим
Дочь иметь охота;
Тот голоден; тот желает
Избежать работы.

То я сторожем быть должен
В пашнях, огородах;
Этой нужно, чтоб корове
Я помог при родах.

Тот сухой погоды просит —
Высохнет-де сено;
А другому дождик нужен,
Льна смочить посева.

То дай холода, то жара,
То дождя на поле...
Рожь нужна то подешевле,
То ценой поболе.

Старых баб создал я много
Лишь себе на горе.
Если будут меня мучить,
Истреблю их вскоре.

Гром на них! Бранить хоть стыдно,
Не могу сдержаться:
Коль доится мало телка,
Тоже к богу мчатся.

Обленились вовсе люди,
Не хотят работы.
Бог им только для удобства,
Меньше-де заботы.

Тут суши, там дождик нужен
Или удобенье.
Тот, дурак, болезнь получит —
Молит исцеления.

Та замужества у бога
Днем и ночью просит.
Тот вопит: жену холера
Пусть скорей уносит!

Ждет успеха в лотерее —
Мне дары таскает.
Чтоб взять деньги страховые,
Тот пожара чает...

О, вы, шельмы! Если б не был
Добр я к плутням вашим,
Я б вас, как гнилые сливы,
Измолол на кашу!»

Табаку понюхав, громко
Бог чихнул во гневе:
Дождь полился, засверкала
Молния на небе...

Да, скажу я! Божья служба —
Далеко не шутка.
Лучше в ссылке находиться
Где-нибудь в Якутске...

Поздно ночью все затихло;
Люд угомонился.
Бог Перун, измучась за день,
Покурить решился.

Только трубочку набил он
Табаком турецким,
К Перуну жена с упреком
Подскочила дерзким:

«Я ведь давеча все время
У дверей стояла:
Что царю сказать велел ты,
Все я услышала.

Говорила я: с царем ты
До беды дождешься...
С оппозицией твоею
Черта ли добьешься?

Ты политикой неумной
Лишь себя накажешь.
Что на языке имеешь,
То в глаза и скажешь»...

Ну, когда жена бормочет
Под ухом и лает —
Даже божьего терпенья
Вовсе не хватает!..

Ах, Перун! Весьма жалею
Бедного я бога:
Завтра ждет тебя, несчастный,
Грустная дорога.

Ой, Перун ты разнесчастный!
Что ты, братец, вздумал?
Своего царя без страха
Вдруг ругать задумал!
Ой, Перун ты разнесчастный!

Сделал ты негоже:
Как поймают — ничего уж,
Братец, не поможет!

Итак, 29 февраля мы прибыли на станцию Карымскую. Наш поезд остановился на втором пути — первый занят каким-то длин-

нейшим вновь прибывшим составом. Оказалось, это каппелевский санитарный поезд. Из вагонов его, держась за поручни, выползают худые, истомленные человеческие фигуры в оборванных солдатских шинелях, больше похожие на тени, чем на живых людей. Садятся на ступеньках вагона, начинают обирать на себе наскомых. Я подошла к ходившему по перрону офицеру-анненковцу¹, ехавшему с этим поездом, стала расспрашивать его об условиях их путешествия — это какой-то страшный кошмар: вагоны полны больными и умирающими, почти все — сыпнотифозные. Умирают каждый день; здоровые и больные лежат подчас рядом с мертвецами. На весь поезд нет ни одного врача, и только две сестры, едва держащиеся на ногах от нечеловеческого утомления. Ужасающая грязь, насекомые, с которыми некому и нечем бороться. Хлеб есть, есть кое-какие продукты. Белья совсем нет.

Все это офицер рассказывал с каким-то тупым безразличием, точно все чувства в нем одеревенели. Заметив на моем лице выражение ужаса и отчаяния, он со слабой улыбкой произнес: «Слава Богу, что выбрались хоть так — хуже было бы остаться на съедение красным».

Боже, Боже мой! — думала я, уходя от него и чувствуя, что какой-то комок подкатывается к горлу, — чье это преступление, чья вина, что люди доведены до такого ужасного состояния?

Потом я не раз подходила к бродившим по станции солдатам этого эшелона, разговаривала с ними, давала им хлеба, папирос и денег. Они тихи и покорны, не жалуются, не ропщут... Несчастные, несчастные люди!..

Настало *1-е марта*. Очень тепло, снег тает, пахнет весной. Мы с мужем гуляли по Карымской. Дома в деревне хорошие; есть аптека, бакалейные лавки. На одном заборе до сих пор висит, вызывая невольное чувство грусти, воззвание, подписанное адмиралом Колчаком.

Вечером чехи делали дезинфекцию нашего поезда, густо полили весь пол. Уже идет разговор, что весь вокзал кишит вшами.

Часов в 9 вечера сидели мы маленькой компанией, разговаривали и смеялись чему-то. Вдруг трянуло наш вагон; лязгнуло и зашумело что-то под его полом, прямо под нашими ногами. Капитан К[огут] сказал, что это протаскивают мертвецов из соседнего поезда на другую сторону станции. Жуткое и скорбное дуновение пронеслось между нами; все замолчали.

Этим же вечером сообщили нам чехи, что в Оловянной идет бой красных с семеновцами и японцами. Кажется, это задержит нас здесь. Наш поезд предполагают увести в тупик, так как ожидается прибытие новых чешских эшелонов с запада.

2 и 3 марта мы еще на Карымской. Каппелевский «Поезд мучений и смерти» все еще стоит перед нами как живой укор, и я не могу избавиться от чувства тягостной вины перед теми, кто страдает и умирает там, в таких ужасных условиях. Умирают без покаяния, без прощальных молитв — и закапываются в землю, никем не оплаканные, быть

¹ Офицер армии атамана Б.В.Анненкова.

может, за тысячи верст от родного угла, и даже креста не будет на их безымянных могилах...

3-го марта каппелевский поезд ушел далее на восток. Пришли и чешские эшелоны и, почти не останавливаясь, проследовали дальше. Масса имущества нагружена на их платформах: автомобили, аэроплан-ные части, рельсы, стрелки, дрова — даже швейные машины и мебель. Увозили из богатой матушки-России все, что можно было увезти...

4 марта, в 8 часов, мы выехали и сразу же застряли на 64-м разъезде — говорят, что до утра. Часов в 10 мы с мужем и Когуты вышли из вагона на разъезд. Ночь лунная, морозит. Кругом высокие горы, разбросаны по сторонам дороги большие камни — какой-то первобыт-ный хаос. Дошли до паровоза; машинист обрадовал, что до утра стоять не будем, так как угля мало, нужно запастись, «но, пока что, постоим».

Возвращаемся с этим утешением к себе. Ложусь спать. Чувствую себя плохо от вагонной тряски, закачало, болит голова.

Конечно, ночью мы не уехали, и когда уедем — по обыкновению, неизвестно. Паровоз наш ушел в Андриановку за углем.

5 марта — чудный весенний день. Ходили гулять по горам. Там замечательное эхо. Подошли к железнодорожному мосту, огляну-лись: наш поезд виднеется далеко-далеко от нас. Боже мой, ушел! В ужасе мы бежим сломя голову назад, задыхаемся, торопим друг дру-га. Прибежали к разъезду — поезд стоит на том же месте, где мы его оставили, без паровоза. Произошел какой-то смешной оптический обман.

С Карымской виден поворот на Амурскую железную дорогу. Я по-стояла, посмотрела: так пустынна была эта дорога, так сиротливо бе-лели рельсы, тишина, не слышно веселых гудков паровозов и посту-кивания колес быстро бегущего поезда — точно навсегда заброшен-ный путь. Грустно было сознавать, что это — последнее звено, еще связывающее нас с родной землей; дальше пойдет дорога на чужой и незнакомый нам Дальний Восток...

В 5 часов вечера мы были в Андриановке. Рядом с нами стоит японский поезд, полный солдатами. Мы смотрели в окно, как они развлекаются: идет у них, видимо, какая-то игра — хлопают друг друга по рукам, ладонь в ладонь, раскачиваясь и ритмично приговаривая отрывистые слова на высоком, горловом, чуждо звучащем для нас языке; добродушно и весело смеются.

Гуляя, мы с мужем поднялись на высокую гору, сразу же за вокза-лом. Красивое место. Снег почти сошел, обнажились сухие подснеж-ники и прошлогодняя трава. Небо чисто — и неуловимо, но ощутимо в воздухе веет весна.

Наш поезд стоит сейчас, оказывается, на том же самом месте, где стоял до нас каппелевский поезд. Все кругом загрязнено до крайности: сор, бумаги, разлитая вода, корки хлеба, черепки разбитой посуды. Чехи усиленно поливают везде крепчайшим дезинфекционным раствором.

Собрались уезжать в 7 часов вечера *5-го*, но у паровоза лопнула какая-то трубка. Судьба положительно преследует нас. Простояли *6-е и 7-е марта*. *7-го* глубокой ночью выехали, и я проспала красивые виды по дороге.

В эту ночь мне приснился печатный и зловещий сон о Зине и Янке Маевских. Что с ними, живы ли они? Когда удастся мне получить о них известие?

Кругом железнодорожного полотна тянется голая степь. В первый раз в жизни я видала, как зимой скот пасется на прошлогодней траве-«встоши» и как сзят не верблюдах.

В 4 часа дня *7 марта* приехали в Оловянную. Чешских эшелонов здесь больше нет, и потому мы должны через 4—5 часов уехать. Хоть бы ничто не помешало отъезду; уже надосли эти долгие стоянки в пути. Я успела пробежаться по станции, была на Ононском мосте; с ним связаны многие воспоминания о минувшем периоде Гражданской войны в Сибири. Взорван мост красными был основательно: целый железный пролет заменен теперь деревянным, второй разрушен наполовину. Резкий ветер принудил меня вернуться к поезду.

Вечером пришла к начальнику нашего эшелона русская женщина с жалобой на семеновцев, которые захватили и увели из санитарного поезда ее брата, больного казака. Что ж тут могли сделать чехи! На безобразия семеновцев идут жалобы отовсюду; говорят о тысячах замученных и расстрелянных ими. Если даже и половина этого — правда, то и тогда это ужас, которого не передать словами. Где же, в чем выход и спасение для несчастных русских людей?..

Выехали мы с Оловянной в 9 часов вечера. Ночью поезд шел очень быстро, вагоны немилосердно качало, дребезжала посуда на столах и на полках. Мне нездоровилось, я не могла спать от этого грохота, в желудке сделались какие-то боли, да и настроение мое сильно снизилось: нервы за дорогу поистрепались. В 3 часа утра *8-го марта* приехали в Борзю, где, по-видимому, стоим от одного до трех дней. Походила утром по поселку, купила жареных рябчиков по 60 рублей сибирскими за штуку; мы с мужем с удовольствием съели их потом за обедом.

Начинает уже сказываться близость Маньчжурии. В Борзе много китайцев, китайские лавки. В изобилии имется белый хлеб в продаже.

10-го в 6 часов вечера двинулись дальше. Какой-то спекулянт-еврей хотел пристроиться со своей теплушкой к нашему поезду, ему отказали. Тогда он сунул взятку железнодорожникам, и те потихоньку прицепили теплушку к нашему составу, но чехи увидели и приказали отцепить. Спекулянт обозлился, ругался яростно: «Чехо-собаки, сволочи!» Смешно было глядеть на его перекошенное от злобы лицо и уморительные угрожающие жесты по адресу чехов. Солдаты чешские разобиделись за «чехо-собак» и поколотили нахала.

Мое скверное настроение не проходит. Все надоело, устала от вагонной жизни, от тряски, холода и тесноты. Муж тоже невесел и утомлен; самое главное — нет еще у нас уверенности в полной своей безопасности. Хоть бы скорее уж приехать в Маньчжурию!

И вот, наконец, *11 марта*, в 12 часов дня, мы — в Маньчжурии¹.

Первым нашим чувством, когда мы вышли из вагона, была великая радость и облегчение — точно гора свалилась с наших плеч.

¹ См. также: Серебренников И.И. В Маньчжурии // Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 2: В эмиграции (1920—1924). С. 14—16.

Наконец-то мы на нейтральной территории; в свободной области, где нам не угрожает больше красное преследование. Все опасения и страхи остались позади. Муж мой сразу повеселел и, уже ничего не боясь больше, отправился со мной гулять по поселку, где все было ново и чрезвычайно интересно для нас. Прежде всего у самого вокзала увидели китайца, продававшего мандарины. Все наше вагонное население на них накинулось. Штука стоит 15 рублей; я была поражена такой дешевкой, думала, — не меньше 60-ти.

Потом мы с мужем попали, видимо, в торговую часть поселка (или города, как здесь его называют), сплошь занятую магазинами, в которых торгуют китайцы, русские, армяне и греки. Товаров масса; больше всего поразили нас богатые винные выставки — давно мы не видели такого изобилия разных вин. Муж пожелал угостить наших спутников-чехов по поводу нашего благополучного избавления от большевистской опасности, и мы купили две бутылки водки и бутылку наливки для дам. Цены высокие; потом оказалось, что купцы сильно запрашивают и нужно с ними торговаться. Мы же этого не знали и потому порядочно переплатили на своих покупках.

Ходя по лавкам, я от нечего делать приценивалась к разным предметам. Сливочное масло — 200 рублей за фунт. Банка зубного порошку — 75—100 руб. Лакированные дамские туфли — 1800—2000 руб[лей]; аршин китайского хорошего тяжелого шелка — 750 руб[лей] сибирскими, 40 руб[лей] романовскими мелкими или 100 — крупными. Удивительно, что здесь все еще берут сибирские деньги. Идет ужасный торг деньгами, которого я никогда раньше не видела и от которого меня коробит.

В общем, Маньчжурия мне не понравилась¹. Голо, пусто — ни деревьев, ни кустов. По виду не то город, не то деревня; на улицах шумно, но как-то неуютно. Все странно и чуждо для нас: в магазинах — русские торговцы, русская речь, но русским духом и не пахнет; китайщина все собой подавляет. Представилось мне вдруг, что и в Харбине будет точно так же: торгашество, спекуляция — и ни одного дружеского или знакомого лица, и на момент мне стало очень грустно.

Вечером в нашем вагоне был кутеж: все накупили вина, и в каждом отделении слышен был звон стаканов, веселые разговоры, смех и пение. Наши две бутылки водки разошлись без остатка; чехи чокались с нами, пили за наше здоровье, мы тоже отвечали им маленькими тостами. Вино всем развязало языки и раскрыло настежь сердца: даже пани Гамплова, неизвестно за что сердившаяся на меня целых две недели, теперь милостиво приняла от меня стаканчик наливки и стала разговаривать со мной по-прежнему.

¹ Маньчжурия, город и станция КВЖД. Одно из первых поселений в Китае на пути эмигрантов, основано в 1900 г. В 1920 г. жили около 3 тыс. русских эмигрантов и 20 тыс. китайцев. Находились общественное управление, почтово-телеграфная контора, железнодорожная больница на 50 коек. Из учебных заведений — двухклассное железнодорожное училище и поселковое общественное училище. В 1923 г. получен статус города. Имелось 3 православных храма: Свято-Иннокентьевский кафедральный собор, Свято-Серафимовская церковь (построена в 1903) и Свято-Казанско-Богородицкая церковь.

11 марта нам сказали, что поезд наш будет отправлен дальше завтра, после обеда, и мы собирались 12-го утром отправиться в город за кое-какими покупками. И вдруг в половине пятого часа утра нас увезли. Теперь, по-видимому, задержки больше не будет. Везут нас хорошо, на остановках стоим очень мало, и, если так пойдет дальше, то дня через два мы будем уже в Харбине. Даже не верится, что скоро конец нашему путешествию, которое длится уже полтора месяца.

В полдень 13 марта мы остановились на станции Мяньюхе¹. До сих пор места, которые мы проезжали, были очень скучны и однообразны: равнина и равнина, сливающаяся с горизонтом; не на чем было остановиться глазу. Пошли было небольшие холмы с широкими низкими соснами, которые мы называем «карликовыми», потом опять потянулась та же плоская бесконечная равнина. Погода стоит беспокойная: вечерами — ярко-красные зори, к утру налетает буря, утром тихо, а часов с 12-ти весь день бушует резкий, но теплый ветер. Снег сходит, там и тут видна земля.

Мяньюхе мне понравилась. На прежних станциях, которые мы уже миновали, вокзалы были скучного, казарменного типа, построены из серого камня с кирпичом, перроны были пустынные — ни садилов, ни деревьев вблизи. В Мяньюхе же — чистые, белые веселые дома, кругом много тополей, которые своими голыми ветвями, без пушинки снега, четко рисуются на ярко-голубом небе и говорят о близкой весне. Хороший мотив для художника-акварелиста — этот хрустальный воздух с тонкими очертаниями деревьев на его прозрачно-нежном фоне.

Понравилась мне и следующая станция, Унур. Серые каменные вокзальные строения с красными черепичными крышами имеют нерусский, заграничный вид. С нетерпением ждем Хингана, за которым, как рассказали нам, начинается почти трехверстный тоннель и знаменитая «петля».

Проехали и эту «петлю». Действительно, это чрезвычайно интересно. Едешь в поезде по высокой насыпи, а внизу, в ложбине, почти параллельно поезду, видишь путь, по которому потом поедешь. Путь заворачивается, делает петлю, ныряет под насыпь почти в том же месте, где только что вышел из тоннеля, и дальше идет уже прямо под уклон. Таким образом, разъезд «петля» виден два раза — один слева, другой справа. Это устроено с таким расчетом, чтобы облегчить движение поездов под уклон, который очень крут в этом месте.

Мчались мы вниз все же со страшной быстротой, несмотря на заторможение поезда. Когда пришли в Бухеду, у всех вагонов тормоза от трения раскалились и горели, как жар. Дамы наши ахали и ужасались задним числом. Я же хранила философское спокойствие: слава Богу, обошлось благополучно — чего же горевать? Бывает и хуже.

Неприятная новость: на Китайской Восточной жел[езной] дороге вспыхнула забастовка, будто бы направленная против управляющего дорогой, генерала Хорвата*. Если это правда, нам придется жить в

¹ Серебренникова А.Н. С чехами от Иркутска до Харбина: Дорожные записки // Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. 2: В эмиграции (1920–1924). С. 250.

Бухеду неопределенное время. Назавтра, в 7 часов утра, чехи обещают выяснить положение. Быть может, чешские эшелоны будут продвигать.

Еще в Маньчжурии, гуляя по городу в сильный ветер, я схватила простуду и сейчас чувствую себя неважно: кашель, насморк, головная боль. И настроение опять упало: большевики, от которых мы спасаемся, положительно гонятся за нами по пятам. Конечно, эта забастовка не обошлась без участия наших коммунистов.

Настало и *14 марта*. Слух о забастовке оказался верным — значит, мы засели на месте. Китайская Восточная железная дорога начала забастовку, пользуясь прохождением чешских эшелонов, вероятно, в расчете на их сочувствие; так нам рассказывали здешние железнодорожники. Свои действия забастовщики мотивируют тем, что они якобы 10 месяцев не получают жалованья, но мы думаем, что подкладка здесь, несомненно, политическая, и забастовка имеет целью удаление генерала Хорвата. Чехи, с их постоянным сочувствием нашим левым выступлениям, теперь сами попали в переделку: в Бухеду застряло, вместе с нашим поездом, еще четыре чешских эшелона, и, когда им удастся двинуться дальше — неизвестно.

Днем мы слушали музыку на вокзале: оркестр 6-го чешского полка сыграл довольно хорошо несколько концертных вещей. Этот 6-й полк вел себя на стоянке очень шумно: солдаты много пили, пели нестройным хором чешские и русские песни, в числе их «Катеньку». Ходили слухи, что солдаты этого полка начали немного «большевичить», случались среди них нарушения дисциплины по отношению к офицерам, и чешское командование спешило переотправить их поскорее на Дальний Восток. Но забастовка Кит[айской] Вост[очной] железной дороги задержала и этот эшелон вместе с другими.

Мы с мужем долго гуляли сегодня по Бухеду¹. Это — большой, почти сплошь железнодорожный поселок, расположенный на горе и поэтому весь открытый солнцу. Дома казенной постройки, но не казенного типа: очень веселые, яркие, из розового, белого и серого камня, с застекленными верандами и балконами, окруженные густыми тополевыми садами. Тополей масса кругом, летом улицы, вероятно, представляют собой настоящие аллеи. Очень оригинальная церковь, похожая на жилой дом: украшенная резьбой, с большими итальянскими окнами, длинная, одноэтажная. Если бы не крест, можно было бы принять ее за маленький «дворец». Большое Железнодорожное собрание, солидной каменной стройки. На входной двери висит объявление, что сегодня состоится спектакль и танцы. Совсем культурный город!

Зашли мы с мужем в несколько лавок. Торгуют все китайцы. Товаров много, изобилие вина и съестных продуктов. Сибирских денег уже не берут, кроме двух — трех лавок; боясь, что к нашему при-

¹ Бухеду (Бухэду), станция КВЖД. Разделялась на Северный и Южный поселок. В 1920 г. здесь находились Русское общественное управление, железнодорожная больница на 60 коек, почта, двухклассная и одноклассная общественные школы, церковь во имя царицы Александры и ветеринарный пункт, так как недалеко проходил скотопрогонный тракт на Благовещенск.

езду в Харбин эти деньги совсем выйдут из обращения, я купила за 5 000 рублей 20 аршин чесучи (250 руб[лей] сибирскими или 15 руб[лей] романовскими за аршин); фунт кетовой икры стоит 150 руб[лей]; жареный карась от 100 руб[лей] до 140 руб[лей]. Купила 2 бутылки молока по 2 руб[ля] 50 коп[еек] романовскими бумажными рублями. Начинаю страшиться за будущее. Романовских денег у нас очень мало. Пожалуй, в Харбине, пока найдем работу, нам придется туго.

В 7 часов вечера пришли с вокзала Гампловы и рассказали, что от туда все разбежались, так как 6-й чешский полк получил приказание немедленно взяться за оружие. Рядом с нами стоит Хорватовский броневик, который пришел якобы на «усмирение» забастовщиков, а с Мяньюдхе должны прийти семеновцы, которые там уже «нахозяйничали», и железнодорожники, чтобы воспрепятствовать соединению их с хорватовцами, приступили к забастовке. Во всем этом имелась, быть может, только крупица истины, но факт, что положение снова осложнилось, был налицо.

Когда мы поехали по Китайской Восточной железной дороге, я облегченно вздохнула: вот, наконец, поедем дальше спокойно и без препятствий. Но, видно, в момент революционный ничего нельзя предвидеть или предсказать даже на час вперед.

Будем ждать. Вот что значила утренняя пальба, которую я слышала сегодня: должно быть, чехи «пристреливались» на всякий случай.

15-го марта, в 12 часов дня, сказали нам, что нас сейчас повезут до следующей деповской станции Чжаланьтунь, так как в 2 часа будто бы начнется бой японцев с бастующими железнодорожниками. Последнему я не поверила, а первому обрадовалась. Действительно, нас повезли, но не в 12 часов, а в 3 1/2 часа.

Проехали верст двадцать, оставалось до станции Ялу восемь верст. Вдруг раздался выстрел, другой, третий... Я лежала с книгой на своей койке — смотрю, в нашем вагоне началось смятение: пани Каутская, бледная и испуганная, возбужденно говорит что-то, молодой Каутский бежит стремглав к выходу; послышались тревожные свистки... Что такое? Оказывается, через вагон от нас горит теплушка, занятая солдатами; в открытое окно нашего вагона виден огонь на крыше теплушки. Стреляли и свистели, чтобы остановить паровоз, но машинист не слышит, и поезд мчится дальше. Алекс[андра] Мих[айлов]на [Когут] стала махать в окно своим красным шарфиком — безрезультатно. Минута была тревожная. Наконец, появившийся откуда-то на площадке нашего вагона кондуктор начал усиленно размахивать красным флагом, и поезд остановился. Тотчас же наши денщики побежали с ведрами воды, высыпали из всех вагонов чехи; быстро залили огонь — и страх сменился смехом и весельем. Оказывается, в этой теплушке ехали солдаты-спекулянты; они наложили тюки с товаром на крышу вагона, рядом с трубой, и на них попали искры от топившейся печки. Тюки загорелись, прогорел насквозь потолок, и огонь стал проникать внутрь теплушки. Солдаты уже начали выкидывать в окна свои вещи, которые потом, при остановке поезда, подобрали. После этого «весселого» дорожного приключения мы двинулись дальше.

По дороге нам предстояло новое развлечение, на этот раз совсем другого порядка. По обе стороны железнодорожного пути высились скалистые горы самых фантастических очертаний: то развалины крепости, то целый замок, то аналой; вот гигантская сова с распростертыми крыльями, а там священник в длинной мантии, поднявший руку для благословения. На фоне яркой, почти кровавой зари эти скалы казались черными и представляли очень красивое и оригинальное зрелище, которое положительно поразило меня. Совсем близко от железнодорожного полотна попадались иногда совершенно красные деревья, тоже никогда не виданные мною.

Пока я любовалась этой необычайной картиной, от гор слева медленно поднималась огромная черная туча, предвещавшая ураган или снег и, постепенно застилая небо, перешла к горам противоположной стороны и закрыла их. В вагоне потемнело и стало холодно. В Чжаланьтунь мы приехали без всяких приключений, в 8 1/2 часов вечера.

На станции стоит пассажирский поезд, пришедший с запада; видимо, тоже застрял здесь. Около вокзала хорошая лавка, лежат груды белого хлеба. Муж купил жареного фазана за 250 рублей и фунт роскошной ветчины тоже за 250 рублей сибирскими деньгами. Я уже ничего не понимаю: в Бухеду сибирских денег не брали, а здесь, за 300 верст от Харбина, берут. Может быть, и в Харбине эти деньги ходят — это было бы хорошо.

Кажется, будем стоять здесь ночь.

16-го марта, 11 часов утра. Гампловы продают свою швейную машину и просят за нее 6 1/2 тысяч сибирскими деньгами или 700 романовскими. Пришли в наш вагон трое штатских, — должно быть, железнодорожники; смотрели машину, торговались. Один из них, плюгавого и невзрачного вида, с неприятным, изрытым лицом, хвастливо сказал: «Вот Хорвата столкнем, тогда везде одинаковые деньги будут». Другой подхватил: «Где же золота и серебра взять! Все Семенов да Колчак забрали!» Было тяжело и противно слушать их. Видно, эти господа вполне уверены в сочувствии чехов, если не стесняются в их присутствии говорить о таких вещах.

В 6 часов вечера пришел паровоз с двумя вагонами, в которых помещался отряд китайских солдат. Их встречал на вокзале местный гарнизон в полном составе, с несколькими офицерами во главе. Один из офицеров, хотя и имел довольно щеголеватый вид, но вдруг весьма «демократично» высморкался двумя пальцами на землю. Китайские солдаты — маленькие, тщедушные, без надлежащей военной выправки; серая, мышинного цвета, форма придает им невзрачный, обезличивающий вид.

Грустные чувства испытывали мы, глядя на них. Совсем еще недавно была тут наша, русская охрана, состоявшая из бравых и дисциплинированных солдат пограничной стражи. И это, как и все остальное, отошло теперь в забвение, в небытие, под напором революционных событий в нашем многострадальном отечестве...

Надоело сидеть в вагоне, пошли с Когутами гулять. Зашли внутрь вокзала — очень чисто, красиво, нарядно, лепной потолок, мягкая мебель, и пахнет, как в дорогих ресторанах: вином, духами и еще чем-то

неуловимым. Потом прошли за вокзал – широкие улицы, сплошь засаженные деревьями, из-за которых едва выглядывают белые дома. Кругом горы. Красивое местечко! Чжаланьтунь, оказывается – дачный курорт, куда летом съезжается множество харбинцев. Жаль, что сейчас не лето – в зеленой одежде в этом уголке, должно быть, очаровательно.

Вечером слушали импровизированный концерт. Недалеко от нашего поезда, в тупике, стоит салон-вагон, в котором ехала на восток семья генерала Афанасьева*. Вагон был затребован обратно в Читу, но железнодорожники его не пустили, и теперь он стоит здесь один, с роскошным роялем Мюльбаха внутри, на котором m[adam]e Гамплова и разыгрывала нам Шопена, Бетховена и Листа. Мы сидели в нарядном, чистом салоне, на мягких кожаных диванах, слушая нежные переливы или грозный рокот музыки – и наше путешествие, и наш душный, черный, прокуренный вагон, и вся наша жизнь последних трех лет казались мне какой-то нерсальностью, каким-то тяжелым сном, от которого хочется скоро проснуться, – стоит только сделать усилие, и все будет, как прежде...

17-го мы все еще в Чжаланьтуне. Ходили в китайскую деревню – точно в настоящем Китае побывали: узенькая, грязная улочка, низенькие лавчонки, кругом кишмя кишат китайцы: женщины, старики, ребятишки. Девочки-китаянки, лет 14–15-ти, очень мило причесаны, с бумажными цветами в волосах; почти у всех – крошечные, изуродованные ножки. Одеты женщины и девочки в мужские штаны и кофты-курмушки¹ из пестрой или черной, с крупными цветами, материи. В лавках китайцы очень вежливы: здороваются, а когда уходишь – забегают вперед и отворяют двери. Один маленький китайчонок вдруг подлетел на улице к нам и со словами: «Здравствуй, здравствуй!», сунул нам всем свою грязную ручонку, а потом с хохотом убежал.

Вечером на горах зажглись своеобразные костры: горела во многих местах трава. Постепенно вспыхивали все новые и новые такие костры, за вокзалом стояли яркие зарева. Было очень красиво.

Китайские солдаты встречали какое-то свое начальство: выстроились на перроне, винтовки у плеч, трубачи пропели «Зарю» совсем по-нашему, по-русски. Прошел длинный поезд, никого нигде не было видно, только ярко горело масло у одного колеса.

Поздно вечером чехи сообщили нам, что забастовка кончилась, Хорват будто бы бежал. Железнодорожники хотели арестовать русских офицеров в стоявшем рядом с нами пассажирском поезде, но китайцы не позволили это сделать. Тогда они увели поезд куда-то подалее, чтобы китайцы не увидели, и наверное, все-таки арестовали несчастных офицеров.

18 марта в 9 часов, мы выехали из Чжаланьтуня. Инженер, только что вернувшийся из Бухеду, рассказывает, что там хорватовский броневик сдался без боя. Хорват же вовсе не бежал. Рабочие-железнодорожники выставили четыре требования: 1) Удаление ген[ерала] Хорвата. 2) Подчинение власти городов и земства (Владивостокской)².

¹ От «курма» – теплая одежда.

² Земско-городская власть во Владивостоке.

3) Удаление, в течение трех месяцев, японских войск. Четвертое требование он забыл. Хорвату будто бы предлагали остаться, при новом порядке вещей, комиссаром, но он отказался.

Сегодня жарко, как летом: я гуляла в летнем костюме. Хороший день, яркое солнце — и в душе зародились смутные надежды на что-то лучшее впереди...

В 5 часов вечера приехали в Цицикар¹. Город расположен в 20-ти верстах от станции. Походили по станционному поселку, зашли, по традиции, в одну—две лавки. Я купила баночку крема для обуви, за которую спросили 5 рублей романовскими, или 75 сибирскими. Масса хлеба сложена на станции — целые горы мешков пшеницы и ржи.

Вероятно, завтра утром будем в Харбине. Я начала складывать вещи. Кап[итан] Когут с женой, а также начальник эшелона, поручик Маршалек, предлагали нам с мужем просхать с эшелоном до Владивостока, там дожидаться чешских транспортов и с ними уехать в Чехию, где можно найти себе заработок. За провоз туда с нас ничего не взяли бы. Мы очень благодарны были за это предложение, но не решились им воспользоваться: уж очень далека была Чехия от пределов нашей родной страны, куда мы все-таки надеялись скоро вернуться. И мы решили сойти в Харбинс.

Поручик Маршалек отказался также взять с нас плату за проезд и довольствие в его эшелоне. Это сделало нам большую экономию в наших скудных наличных средствах. Кроме того, у меня за дорогу накопилось целое хозяйство, так как мы все время получали офицерский, довольно обильный паек и не могли израсходовать его целиком. В нашем владении теперь находилось несколько фунтов сахара, фунта два чаю, консервы, мыло, пачек 5—6 спичек, две большие коробки папирос, несколько банок молока. Не зная, как нас встретит Харбин, я очень довольна была этим запасом. Самое главное, у меня был целый мешок высушенного на сухари белого хлеба. Мы не имели, конечно, никого понятия о том, как обстоит хлебный вопрос в Харбине: в Иркутске, перед нашим отъездом, хлеба уже давно недоставало.

Весь день *19 марта* я провела за сборкой и укладкой нашего имущества. За два месяца вагонной жизни пришлось пользоваться многими вещами из нашего багажа — все это теперь опять вернулось в чемоданы и корзины. В 7 часов вечера мы приехали в Харбин, простояв на последнем перед ним разъезде Метайцзы почти три часа.

Тотчас же я пошла разыскивать контору для хранения багажа. На вокзале шум, суета, давка — я совсем одурела. С помощью Каутского контору скоро нашла, и Франц Поспехал перетаскал туда все наши

¹ Цицикар, город и станция КВЖД. Находится на р. Нуньцзян (Нонни) в степной части Маньчжурии, являлся центром земледельческого района. В 1920 г. находились церковь Святых Апостолов Петра и Павла, двухклассная железнодорожная школа, метеостанция, почта, поселковая общественная бойня, так как недалеко проходил скотопрогонный тракт на Амур. В это время город (в просторечии Бу-куй) являлся административным центром Хэйлунцзянской провинции. Здесь располагалось Русское консульство, отделение Русско-Азиатского банка и правление лесного предприятия Шевченко.

вещи. Мы дали ему за его дорожную службу нам тысячу рублей сибирскими, чем он остался очень доволен. Вернувшись в вагон, мы тепло простились с нашими спутниками-чехами и их русскими женами, горячо поблагодарили поручика Маршалека за оказанную нам неоценимую услугу, за его неизменно внимательное и благожелательное к нам отношение. Кап[итан] Когут и некоторые другие чехи дали нам карточки с их адресами в Чехословакии и обещали писать нам. На момент мне стало даже грустно расставаться со всеми этими милыми и симпатичными людьми, с которыми на два месяца связала нас судьба.

И вот мы в Харбине, идем искать себе пристанище на ночь. Стелется перед нами туманной завесой неизвестное будущее в чужом городе, среди чужих людей... Что будет, как сложится дальше наша жизнь, что еще предстоит пережить нам, дурного и хорошего? Пока же мы счастливы тем, что ничто не угрожает нам, что мы в безопасности и свободны, что красный зверь как будто остался далеко позади.

[На с. 67 написано:] За последние годы очерки и стихотворения А.Н.Серебренниковой помещались в харб[инской] газете «Заря», в журналах «Рубеж», «Луч Азии», «Хлеб Небесный», в тяньцзинских журналах «Родная школа», «Дракон», «На путях к Родине».

В настоящее время А.Н.Серебренниковой приготовлен к печати сборник стихотворений «Из ниппонской поэзии». Сборник этот принят для напечатания издательской частью Главного Бюро Рос[сийских] эмигрантов в Харбине и в скором времени выйдет в свет¹.

¹ В связи с вступлением Советской армии в Харбин в 1945 г. сборник не издан.